

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ ФАКТОР МОДЕРНИЗАЦИИ: СООТНОШЕНИЕ ЛИБЕРАЛЬНЫХ И КОНСЕРВАТИВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ

На протяжении XVII—XX вв. Россия пережила несколько более или менее масштабных попыток модернизации — ускоренного и в значительной степени целенаправленного формирования современных структур жизнедеятельности общества. Заведомая тавтологичность определения является в каком-то смысле неизбежной, поскольку эмпирически, в реальном пространстве истории, определить, что такое для каждой данной эпохи “современное” общество, — почти невыполнимая задача. В самом общем виде, содержание понятия “современность” сформировано происходившей в течение XVI—XX вв., беспрецедентной по масштабам и динамике экспансией европейского капитализма и связанных с ним культурных форм на все остальные части света, вследствие чего оно приобрело почти исключительно европейское цивилизационное измерение с характерным устоявшимся набором критериев (индустриальный, а в нашу эпоху — постиндустриальный тип производства, научный и технологический рационализм, рыночная экономика, развитое гражданское общество, политическая культура либерализма). Большинство концепций модернизации, в особенности, европейско-либеральных, исходит из того, что именно эта социокультурная система, впервые возникшая в Европе и с тех пор нигде больше не сформировавшаяся на собственной, эндогенной основе, обладает притягательной силой и значением эталона для всех других обществ — либо еще не вышедших из-под власти патриархальных традиций, либо зафиксировавших свое место в качестве отсталой периферии европейского мира.

Между тем социокультурный источник европейского прогресса (как его предельное основание) во все времена оставался самой не постижимой и невоспроизводимой в процессе модернизации субстанцией. Напротив, все попытки осуществления модернизации в политически самостоятельных, но отставших в развитии странах, как правило, инициировались чисто прагматическими интересами правящих элит, а поэтому копировали лишь внешние — ресурсно-силовые и технические — параметры европейской “современности”.

Такие преобразования могли достигаться только жесткой мобилизацией ресурсов, монопольным распорядителем которых становилось государство. Это естественно не только не приближало модернизируемое общество к возникновению в нем зачатков общества гражданского, но и, напротив, существенно отдаляло. Европейский рационализм, соединяясь с непоколебленными традиционными структурами господства, оборачивался разрастанием тотальной опеки государства над обществом. (Видя в этом определенную тенденцию, Н.А.Бердяев, явно модернизируя историю, пишет о “тоталитарном режиме Московского царства” и о Петре I как “большевике на троне”¹). Характерно, что первые импульсы “догоняющей” модели развития в странах европейской “полупериферии” (Оттоманская империя, Россия, Пруссия) были связаны в XVI—XVIII вв. в исходных посылках с созданием крупных модернизированных армий, и процессы эти шли рука об руку с расцветом и длительной консервацией абсолютизма, имеющего ярко выраженные военно-бюрократические черты². И позднее, как подчеркивает американский историк Дж.Биллингтон в своей известной работе о русской культуре, даже многообещающие технико-технологические и экономические новации (например, проведение первых железных дорог), способные, по логике вещей, вызвать в обществе крупные социокультурные сдвиги, в России продолжали чаще всего осмысливаться в структуре традиционных сверхличностных символов державного могущества³. XX век выдвигает уже совершенно новые подходы к осуществлению задач модернизации — целиком основанные на отрицании принципов гражданского общества и насаждении новой тоталитарной “идейности” как программы прорыва в “великое будущее” (большевистская Россия, нацистская Германия).

Историческую закономерность, определяющую взаимоисключающий характер “догоняющей” модернизации и либеральных реформ, возможно, наиболее ярко выражает развитие современной, посткоммунистической России. Перестройка, начатая в СССР в 1985 г. под флагом научно-технологической и структурно-экономической “модернизации”, поэтапно выявляла свою несостоятельность при всех попытках совмещения ее даже со значительно ограниченными в своем действии либеральными принципами организации жизни. В свою очередь, первые опыты целенаправленного либерального реформирования постсоветского общества, начатые в 1992 г., полно-

стью исключили из повестки дня задачи сколько-нибудь реальной модернизации, сменив их императивом спасения разваливающейся экономики. Роковая же слабость политики либерального реформизма проявилась в том, что все проводимые преобразования не могли не быть чисто институциональными⁴. Они могли бы иметь более глубокие последствия, если бы социокультурный субстрат посттоталитарного общества сводился лишь к механической сумме простейших социальных рефлексов. Однако культура общества — это нечто гораздо более сложное и всеобъемлющее. По определению французского социолога Р.Робин, это вся сумма “смысловых отношений, отношений значимых, которые формируют структуру общества, мир его символики”⁵. Преуспевая в разрушении институциональных опор прежнего тоталитарного порядка, либеральная демократия, как справедливо отмечает Г.Павловский, терпит поражение именно как культура, как стиль — даже будучи насаждаемой “как бы в некоей пустоте, вне организованной и благодатной сопротивляемости давно утвержденных структур”⁶. В результате, культурный традиционализм, являющийся главным оплотом и символом сопротивления либеральным преобразованиям, и еще неокрепшие, достаточно формальные институты либеральной демократии дают при своем наложении аномическое общество-гибрид неопределенно-переходного типа, которое отличают перманентный кризис легитимности власти и разлад всех социорегулятивных подсистем. В этих условиях целенаправленная модернизация общества, требующая концентрации национальных ресурсов и наличия единого субъекта управления ими, превращается в химеру или, по крайней мере, на длительную перспективу исключается из области актуальных задач.

Не менее проблематичным является и тот экзогенный, принудительный способ модернизации, который диктовала отсталым странам “полупериферии” и “периферии” их интеграция в мировое капиталистическое хозяйство. Сколь бы высоко мы ни оценивали внутренние факторы динамики европейских обществ, бесспорно то, что европейский капитализм — и в особенности, важнейшие революционные сдвиги в его экономической структуре (колониальный торговый капитализм XV—XVIII вв., промышленная революция XVIII—XIX вв., империализм XIX—XX вв.) — могли состояться только с выходом в пространство мировых хозяйственных связей. В

своей структурной целостности и функциональной взаимозависимости частей, мировая экономика может рассматриваться как самоорганизующаяся система, развитие которой поддерживается естественно-географическим разнообразием хозяйственных ресурсов — международным разделением труда — и обусловленными им всеобщими связями экономического обмена. С этой точки зрения заинтересованность правящих элит различных государств и других национально-ориентированных агентов рыночного обмена в поддержании и развитии мировой торговли является столь же всеобщей; а в свете моралистической гипотезы об эквивалентности этого обмена и неизменно сопутствующей ему доброй воле эта система отношений представляется еще и последовательно демократичной.

Однако, в действительности, уже в прообразе — с исторической стадии формирования национальных рынков, а затем и тех экономически самодостаточных пространственных систем обмена, которые получили в концепции И.Валлерстайна — Ф.Броделя название “миров-экономик”, — мировая экономика отличалась поляризованностью развития и, соответственно этому, функциональной иерархией составляющих ее подсистем — от первичных хозяйственных форм до интегрирующих “надстроек” различной степени сложности. Эта иерархия экономических порядков может и не отменять самодовлеющих оснований и произвольного течения “приземленной”, “натуральной” хозяйственной жизни, но неизменно воспроизводит сложный баланс двух ракурсов экономической реальности, который Ф.Бродель эскизно наметил при рассмотрении структуры венецианской торговой “империи”, — баланс, покоящийся “на колеблющемся диалектическом соотношении между рыночной экономикой, развивавшейся спонтанно, почти что сама собой, и экономикой, возвышавшейся над нею, которая перекрывала эти малые формы деятельности, ориентировала их, держала в своей власти”⁷. Даже при исключении из анализа “мировых” внеэкономических форм первоначального накопления капитала (морской разбой, колониальные захваты, рабство и др.), позиция экономического “центра”, обладающего монополией контроля за общими условиями производства и движения товаров в рамках торговой системы, в конечном счете навязывала остальным частям этой системы далеко не эквивалентные формы обмена, сообщая им таким образом подчиненную роль “периферии”. В результате, вся полнота хозяйственного и социального эффекта, извлекаемого

из существования мировой экономической системы, локализовалась в немногих ведущих "центрах", в то время как образующаяся за их пределами "периферия" экономически фрагментировалась, превращаясь в сырьевые, монокультурно-ориентированные хинтерланды.

Интенсификация участия стран "периферии" в мировой торговле, безусловно, могла вести к расцвету отдельных секторов их экономик, однако эти изменения, как правило, происходили за счет деградации целостной хозяйственной структуры этих стран, переключения их наиболее ценных ресурсов с удовлетворения местных нужд на обслуживание заграничных рынков. Кроме того, как специально подчеркивает И.Валлерстайн, место страны в системе мирового хозяйства и характер производимой для него продукции непосредственно влияли на методы регулирования труда⁸, в странах "периферии" почти повсеместно вызывая тенденцию социального регресса, роста или консервации социальной несвободы. Пример позднесредневековой Польши, вовлеченной в транснациональную балтийскую торговлю, является в этом отношении хрестоматийным. Активный экспорт хлеба в обмен на предметы роскоши из-за границы создал в этой стране специфический "компрадорский" социальный альянс организаторов этой торговли — гданьского купеческого патрициата — и крупных поставщиков зерна — магнатов и шляхты. Результатом стал упадок промышленно-ремесленного производства в польском городе, вытеснение с хлебного рынка крестьян и "рефеодализация" аграрной экономики страны⁹. Рассматривая последствия ранней "открытости" Польши мировой экономике, Ф.Бродель резюмирует: "Мы слишком хорошо видим, как Гданьск, погруженный в собственный эгоизм и поглощенный своим благосостоянием, эксплуатировал и предавал огромную Польшу и как ему удавалось придавать ей [нужную ему] форму"¹⁰.

Проекцией этого экономического порядка на область политических отношений становится особый тип сословно-представительной монархии, при котором дворянство, как неоспоримый монополист и единственный полноценный агент аграрного рынка, необычайно расширяет свои права и привилегии. Магнаты и шляхта узурпируют не только функции сословного представительства ("парламент"-сейм), но и практически — через своих выборных представителей — все уровни и звенья непосредственного управления государством. Этим фактически блокировалась возможность становления в Речи Поспо-

литой сколько-нибудь сильного абсолютистского государства, в первую очередь, институтов, составляющих его опору, — профессиональной бюрократии и постоянной армии¹¹. По существу, на заре Нового времени Польша, представляя собой обширную зону крепостнической эксплуатации крестьянства, одновременно переживала метаморфозу превращения неизжитого феодального партикуляризма в некое подобие гражданского и политического “либерализма”, достаточно широкого и “современного” в объеме субъективных прав, но как раз в силу этого вполне реакционного, не выходявшего за рамки узкосословной шляхетской привилегии. Эта агрессивная, безграничная в своих вызовах центральной власти (достаточно вспомнить пресловутое “либерум вето” или рокоши шляхты) “вольность дворянская” укрепилась в Польше раньше, чем здесь смогли оформиться структуры зрелой государственности, и в дальнейшем это закономерно привело страну к политическому разложению и утрате независимости. Эта резкая поляризация гражданских состояний — от высших степеней “свободы” до крайних форм “рабства” — в рамках единого социального агрегата не представляется однако чем-то исключительным. Как доказывает В.В. Леонтович, в России после издания Екатериной II Жалованной грамоты дворянству 1785 г. наблюдался подобный же парадокс: “усиление зависимости крестьян было прямым и неизбежным последствием предоставления дворянам свободы”¹². (Принципиальное различие ситуаций заключалось однако в том, что в России первые импульсы гражданского либерализма распространялись “сверху”, в порядке дарования дворянству привилегий со стороны все сильного авторитарного государства, а не путем стихийной фрагментации экономического и политического пространства страны, как это было в Речи Посполитой).

Вышеописанные механизмы фрагментации одних исторических государств и устойчивости других вскрывают органическую связь между внутрисоциальными и геополитическими измерениями модернизации — более того, позволяют рассматривать проблему ее геополитического фундамента как базисную предпосылку осуществления этого процесса. Как правило, в процессе модернизации происходит более или менее решительная ломка традиционных социальных структур и отношений, в результате чего когда-то целостный общественный организм расщепляется на

отдельные части, сегменты, институты, приобретающие таким образом относительную автономию. В дальнейшем, уже в рамках новой модернизированной структуры, происходит “сборка” этих компонентов¹³. Однако, если внешнее модернизирующее воздействие (прежде всего, экономическое и культурное) оказывается достаточно сильным, а модернизируемое общество структурно ослабленным, эта “сборка” существенно затрудняется, а порой и вообще становится невозможной. В этом случае общество теряет “стержень” своей идентичности и вступает на грань распада, в дальнейшем доставляя лишь “строительный материал” для других более сильных и стабильных экономических и культурных порядков. Поэтому геополитическое измерение модернизации связано прежде всего с нахождением той меры сочетания стабильности и изменчивости, которая позволяет в процессе трансформации экономического строя и соответствующего ему социального агрегата общества удерживать их в системной целостности и препятствовать превращению отдельных компонентов данного общества в периферийные звенья иных центробразующих “миров-экономик”.

Эта инверсия либерализма и неожиданно выявляющиеся позитивные стороны консерватизма (включая роль сильной бюрократии, являющейся едва ли не самым мощным гарантом стабилизации модернизируемого общества) заставляют если и не отрицать всеобщий смысл гражданской и политической эмансипации как универсальной тенденции общественного прогресса, то по крайней мере, полагать для каждой крупной эпохи вполне определенное “количество”, или меру, свободы — своего рода социальный “закон сохранения энергии”. (Мы сознательно должны отвлечься здесь от метафизического понимания свободы, имеющего абсолютный, вне-временной смысл). Как всякий общественный продукт, это скупое отмеренное эпохой (и всегда имеющееся в дефиците) “количество” свободы может распределяться в обществе в совершенно различных пропорциях, отчего, в сущности, и зависит социально-политическая конструкция общества. Но распределение это в конечном счете всегда происходит в соответствии с общей структурой присвоения совокупного материального продукта общества или возможностей его извлечения, то есть прав собственности.

При всей близости этого понимания свободы к марксистскому¹⁴, первое скорее консервативно по происхождению, чем революционно,

ибо исходит из представления о принципиально неизменной сущности социального бытия. Там, где марксизм видит историческую ограниченность конкретных, предшествующих ему форм социальной свободы и претендует на окончательное революционное разрешение вопроса, консерватизм находит извечное несовершенство природы человека и полнейшую тщетность попыток достичь заметного приращения совокупной общественной свободы простыми социальными реконструкциями и политическими переворотами. В устах наиболее последовательного и философски проницательного русского консерватора, К.Н.Леонтьева, эта позиция доводится до уровня универсального социологического закона: *“Реальные силы обществ все до одной неизбежны, неотвратимы, реально-бессмертны, так сказать. ... Какие бы революции ни происходили в обществе, какие бы реформы ни делали правительства — все остается; но является только в иных сочетаниях сил и перевеса; больше ничего. ... Я сказал — все остается; но иначе сочетается. Я приводил примеры и сказал, между прочим, что даже и рабство никогда не уничтожалось вполне и не только не уничтожится, но, вероятно, вскоре возвратится к новым и, вероятно, более прочным формам своим”*¹⁵. В этой подчеркнуто пессимистической оценке перспектив эмансипации К.Н.Леонтьев намеренно, понимая всю условность приема, придает строго историчным категориям, таким, как рабство, более широкое, общесоциологическое значение (рабство как “порабощение голодающего труда многовластному капиталу”), поскольку, по его же словам, именно “при таких мысленных *растяжениях* открываются нередко для ума вовсе неожиданные перспективы”¹⁶. В данном случае интуиция мыслителя извлекает из-под оболочки преходящих исторических форм представления об устойчивой, инвариантно присущей разным типам обществ мере социальной свободы — как своего рода квинтэссенции исторической судьбы.

Современниками эта идея К.Н.Леонтьева не могла быть оценена во всей ее концептуальной глубине. Например, П.Н.Миллюков, как и многие другие провозвестники наступающего либерального века, находил у К.Н.Леонтьева лишь тягу вырождающегося славянофильства “к неподвижности и изуверству”¹⁷. Однако как раз в этой части своих воззрений К.Н.Леонтьев не отрицает прогресса как такового; тревожась о “разрушительном смещении и о слишком ускоренном движении жизни, собственности и т.д.”¹⁸, он заостряет внимание на

проблеме соразмерности социального прогресса и эмансипации как важнейшей его составляющей тем пределам, которые задаются самыми устойчивыми, инертными основаниями жизни общества — его естественным богатством и нравственной зрелостью. Содержание леонтьевской идеи гораздо ближе тому рациональному осмыслению феномена политического консерватизма, которое в 1915 г., в предчувствии ожидающих Россию катаклизмов, дал В.В.Розанов: “Консерватизм, истинный, а не поддельный, кричащий, уличный, хулиганский, не есть отрицание будущего, динамики жизни, возможности изменений, а признание необходимости, а потому и разумности, момента.... Не консервированье, сохранение, удержание является основой, отправной идеей консерватизма, а признание прав каждого исторического момента на существование. Между консервативным и революционным мышлением стоит преграда: отношение к принципу воли. ...Разница между консерваторами и революционерами состоит в том, что первые ставят необходимость над волей, другие — не признают необходимости”¹⁹.

Для понимания сущности модернизации как процесса, обусловленного соотносительной “энергетикой” развития различных социально-политических систем, пессимистически-консервативный детерминизм К.Н.Леонтьева имеет принципиальное значение. Внутренний, самодовлеющий смысл леонтьевской формулы прогресса достаточно ясен: прогресс поспешный и поверхностный, искусственно форсируемый, не только не искореняет отсталости и варварства (как исторически необходимой, естественно изживаемой ступени развития общества), но, напротив, через ряд трансформаций вызывает неизбежную инволюцию к варварству, обретающему новые, институциональные и технологически совершенные, но, возможно, еще более деспотичные, чем прежде, формы. В поразительно точной, провидческой характеристике К.Н.Леонтьевым будущего коммунистического деспотизма (“Коммунизм в своих буйных стремлениях к идеалу *неподвижного равенства* должен рядом различных сочетаний с другими началами привести постепенно, с одной стороны, к *меньшей подвижности капитала и собственности*, с другой — к новому юридическому неравенству, к новым привилегиям, к стеснениям личной свободы и *принудительным корпоративным группам...*”²⁰) в принципе нет никакого особенного мистического ощущения истории. В леонтьевской социальной “психомеханике”

интегральный вектор исторического прогресса предопределен чисто логически — диалектическим взаимоотрицанием либерализма и эгалитаризма, иначе говоря, позитивной, самоценной и потенциально неограниченной, свободы индивида и свободы “отрицательной”, связанной с общественно-необходимыми ограничениями индивидуализма и принципом равенства как наиболее последовательным выражением этого диктата необходимости. При этом в общем потоке социальной эволюции до уровня частных и второстепенных низводятся самые глубокие исторически обусловленные различия в гражданской и политической организации обществ — смысл сохраняет лишь тенденция всеобщего движения от либерализма к уравнительству, побеждающему в одних случаях, как в России, в форме нефеодалного “государственного социализма”, в других, как на более развитом и культурном Западе, — неолиберального “социального государства”. Как это ни парадоксально, но описанные К.Н.Леонтьевым ступени грехопадения либерализма — его инволюции к коммунистическому “новому феодализму” — поразительно точно воспроизводят те дилеммы и опасения, которые, согласно Р.Дарендорфу, вытекают для того же классического либерализма из практики функционирования “социального государства”²¹. Единственное, что при этом действительно отличает разные общества в аспекте их социально-политической организации и перспектив гражданского прогресса, — это только внутренне присущая каждому из них и для каждого своя, определенная, мера свободы, в силу чего проблема свободных и несвободных обществ сводится к проблеме обществ “богатых” и “бедных”.

Но не только к ней. В каждом обществе внутреннее социальное пространство свободы организуется в различных сочетаниях “сил и перевеса” не только сообразно богатству или бедности своих предпосылок, но и относительно той интегральной сверхличностной цели, которую воплощает собой государственная организация этого общества. По К.Н.Леонтьеву, “иные сочетания (реальных сил, или факторов, общественного бытия — К.З.) благоприятны для государственной прочности; другие — для культурной производительности, третьи — для того и другого вместе; иные же ни для того, ни для другого неблагоприятны”²².

Нетрудно догадаться, что в последнем случае подразумевается все тот же “либеральный эгалитаризм”, логически завершенная буду-

шая проекция которого — достижение “полного равенства и совершенной неподвижности”. Для К.Н.Леонтьева, венец буржуазно-либерального прогресса — “демократическая конституция” — означает недопустимое “ослабление центральной власти”, или, на языке его “социальной механики”, критический перевес свободы индивида над “свободой” государства. Поэтому и подменяющая собой высшие государственные цели несосредоточенная, хаотичная “подвижность” жизни видится мыслителю прологом окончательного нисхождения всех устойчивых государственных форм и культурных типов в “шумный и страшный поток всемирного смешения”²³.

Самое поразительное в этом угнетающем, пессимистическом прогнозе заключается в том, что, будучи беспощадным оппонентом либерализма, К.Н.Леонтьев сам эмоционально — и, причём, безраздельно — подпадает под власть чисто либеральной утопии. Общество свободных и равных в своих естественных правах индивидов, не подверженное изнутри никаким принудительным, государственным формам социализации, есть такая же классическая либеральная утопия, как и общество, полностью открытое вовне — в мир как объект неограниченной, деятельной экспансии свободного индивида. Между тем, К.Н.Леонтьев, несмотря на некоторые прежние оценки его творчества как крайне бессистемного²⁴, удивительно целен и логически последователен как раз в самых широких социологических проекциях своего метода. Если попытаться в полном объеме реконструировать этот аналитический метод, заложенный в его “социальной механике”, то станет понятно, что его замечание о принципиальной невозможности достижения “форм крайнего равенства”²⁵ отнюдь не случайно. Можно добавить, что это равенство невозможно ни в смысле “всеобщего, однообразного и равномерного уменьшения прав”, ни в обратной перспективе — в смысле равномерного возрастания и расширения личной свободы.

Из леонтьевского представления об известной, присущей каждому обществу постоянной субстанции, или мере, свободы естественным образом следует, что общество может увеличивать ее лишь двумя возможными способами — во-первых, расширяя свое господство над природой, или, совершенствуя, по удачному выражению И.Г.Фихте, так называемое “механическое искусство”²⁶, и, во-вторых, осуществляя внешнюю экспансию и эксплуатацию других обществ. Несомненно, что исторически последний путь всегда более определен по

целям и результатам, чем первый, связанный со сложными общественными трансформациями и крайне медленным процессом аккумуляции ресурсов и факторов развития. (На эту, по-видимому, универсальную закономерность указывает широкий круг социально-исторических явлений — от обычаев эпохи “военной демократии” до практики первоначального накопления капитала). Более того, путь внешней экспансии чаще всего и является предпосылкой и решающим стимулом прогрессивных внутрисоциальных сдвигов — как посредством аккумуляции сверхприбылей, так и за счет периодически разряжаемого социально-демографического напряжения. Как справедливо отмечает Х.-Х.Нольте, раньше, чем могла определиться с социальной точки зрения внутренняя структура Европы Нового времени, последняя должна была получить возможность выхода вовне, главным образом, по линии предпринимательской и переселенческо-колониальной активности европейца²⁷.

Характерно, что и сама европейская гуманитарная традиция в значительной своей части представляет собой отражение и осмысление этого универсального алгоритма истории, связанного с взаимодействием разноуровневых социокультурных сред. Например, для И.Г.Фихте “единственно способный к развитию человеческий род” возникает “в смешении первоначальной культуры и первоначальной дикости”, в процессе насаждения “культуры среди дикарей”²⁸. В социологической теории государства Л.Гумпловича первая жизненная государственная форма возникает лишь в процессе “завоевания”, когда в ней отчетливо воссоздается единство противоположных элементов: властвующих и подвластных, господ и рабов²⁹.

Эта примечательная динамическая неравновесность внутренних и внешних источников зарождения цивилизации во многом определяет и ключ к пониманию генезиса и структуры либерально-буржуазного миропорядка. Вместе с тем это и важнейший пункт консервативной критики либерализма — на этот раз критики внешней, высвечивающей не столько внутренние противоречия эволюционной логики либерализма, сколько контекст его взаимоотношений со всем тем, что составляет еще неосвоенную его цивилизацией периферию. Либеральное общество мыслится как основанное на всеобщих началах разума и потому обладающее значением универсальной модели социальной организации. С этой точки зрения, ему как будто предназначен весь мир, и страхи К.Н.Леонтьева относительно всемирного либерально-эгалитарного

“смесительного упрощения” есть невольная капитуляция перед этой философией буржуазного оптимизма. С другой же стороны, К.Н.Леонтьев верит в неуничтожимость и вечность социального и политического неравенства, иерархии статусов, которые, в его понимании, не только целесообразны в высшем культурном смысле (“Милосердие, доброта, справедливость, самоотвержение, все это только тогда и может проявляться, когда есть горе, неравенство положений, обиды, жестокость и т.д.”³⁰), но и неизбежны в силу все тех же неистребимых законов “социальной механики”.

Именно на пересечении этих двух взаимоисключающих социальных гипотез формулируется “основной вопрос” либеральной философии истории: как может быть сочетаема всеобщность либеральной концепции естественных прав и неизбежная внутрисоциальная дифференциация цивилизационных систем? Вопрос логичен именно в такой предельной постановке, поскольку, как уже доказывалось, либерализм как система формального — юридического и политического — равенства в своей теоретической потенции закономерно приходит — в виде концепции “социального государства” — к идеалу “социальных гражданских прав”, “полноты гражданских прав”³¹. И, как символ подобного разрешения “последних” вопросов человечества, либерализм принципиально постисторичен, независимо от того, выступает он в виде известной современной концепции Ф.Фукуямы о “конце истории” как следствии безраздельной всемирной победы идей либеральной демократии³² или как осмеянный К.Н.Леонтьевым идеал “безвластного, сплошного и однородного общества, долженствующего своим земным блаженством ”закончить” историю или воспитание рода человеческого”³³.

Ответ на поставленный вопрос дает сама история. Либеральное общество, как система, предполагающая достаточно широкие пределы свободы автономных групп и индивидов, в процессе отрицания сословно-феодальных порядков формировалось как общество возрастающего равенства возможностей и, следовательно, прогрессирующей нивелировки самых жестких, институционально закрепленных статусно-иерархических различий между своими гражданами. На известной стадии, когда социальные завоевания трудящихся классов и общая гуманизация социальных отношений достигают внушительной, “критической” величины, даже сохраняющееся в этом обществе неравенство имуществ и доходов — в силу неизменности совокупной

меры свободы — должно заметно сокращаться, прежде всего, за счет умаления привилегий высших классов. В таком случае в свои права вступают пресловутые законы “эгалитарного прогресса”.

Если же этого не происходит, то это означает лишь одно: социальная система “восстанавливает” иерархию неравенства либо на путях внешней экспансии, то есть формирования вокруг себя более широкой цивилизационной системы (например, отношений “метрополия — колония”, “центр — периферия”), либо путем возведения внутри себя институциональных и юридических барьеров, препятствующих определенным группам населения, как правило, выделяемым по оппозиции “свой — чужие” (то есть на основе расовых, религиозных, этнокультурных признаков), в доступе к общепризнанным, “естественным” для этой системы социальным правам. Первый случай, на примере завоевания Англией колоний в Северной Америке, отметил в свое время К.Н.Леонтьев, облекший частное наблюдение в универсальную историософскую формулу: “завоевания оригинальных стран”, стран “своеобразных и неравноправных с собою”, есть способ повышения внутреннего “разнообразия” системы³⁴. На путях колониальной экспансии Англия спасла одновременно свой аристократический строй и свое демократическое будущее. Второй случай, характерный уже для Соединенных Штатов Америки XIX — начала XX вв., рассматривают И.Валлерстайн и А.Кихано, связывая утверждение в либеральном американском обществе официального расизма с повышенной вертикальной социальной мобильностью — исключительно быстрым, обгоняющим рост населения, расширением верхней социальной страты. Таким способом расцвет американской “аграрной демократии” сочетался с необходимостью восстановления “трудовой и социальной иерархии”³⁵.

Вышеописанная двуединая проблема “полноты” гражданства в отдельно взятых странах, исповедующих политическую доктрину либерализма, и “границ” распространения либерализма в мировом масштабе структурно воспроизводится и в современных условиях. Последний ее аспект непосредственно связан с вопросом об осуществимости “открытой”, либеральной модели модернизации, хотя, как справедливо отмечает Э.Балибар, в современном едином коммуникационном пространстве, особенно, в условиях Западной Европы — как “внешне открытой совокупности”, места пересечения ряда мировых пространств — он может возвращать себе чисто внутриевро-

пейское значение. На фоне традиционной уже политики стран мирового Севера, “экспортирующих” свои внутренние кризисы в “третий мир”, последний в свою очередь через экономическую эмиграцию “реэкспортирует” их обратно в границы Европы, порождая здесь своеобразный “неорасизм” — систему институциональной дискриминации, основанную на механизме “дифференцированного воспроизводства рабочей силы”³⁶.

Однако принципиально и наиболее резко это противоречие воспроизводится по-прежнему в рамках мировой системы экономических отношений. Характерно, что во второй половине XIX в., когда европейский капитализм еще не приобрел вполне цивилизованного облика, К.Н.Леонтьев в нерешительности останавливался перед вопросом: можно ли этот капитализм всецело определять как “феодализм капитала”³⁷. Век спустя социальная мысль уже без особых сомнений признает — правда, в более широких пределах мировых отношений — возможность феномена “нового средневековья” в обществах, поспешно включающихся в процесс капиталистической либерализации экономики³⁸.

С данной схемой выводов, в частности, полностью согласуется логика положения в мировой системе современной, посткоммунистической России. Можно уверенно предполагать, что в таком, как Россия, бедном обществе с деградирующей экономикой, а, следовательно, с объективно сокращающимся общим ресурсом социальной свободы, чем более значительный слой высшей бюрократии и “новых богатых” будет иметь шансы вхождения в мировое либеральное “сообщество”, тем более вероятна будет (и уже есть) “неофеодалная” институционализация социального неравенства. Реально этот процесс уже вполне проявился, правда, в несколько иных формах. Унаследованная от социализма традиция патерналистской социальной опеки, претенциозно выдаваемая сегодня за принцип “социального государства”, пока что сдерживает, хотя и не очень эффективно, “вертикальную” социальную поляризацию, зато “разломы” институционального неравенства резко обозначились по “горизонтали” — в сфере национальных отношений.

Фактически, весь относящийся к этой сфере ряд явлений — от распада СССР до внутрисоссийских межэтнических конфликтов и вспышек регионального сепаратизма — есть внутрисистемная, осуществляемая на корпоративной основе борьба за дефицитный ресурс

социальной свободы, обостренное ощущение значимости которого сообщено главным образом инициированной извне либеральной “революцией ожиданий”. В данной парадигме, но опять же масштабированной до глобальных рамок, может быть осмыслена несколько по-иному, чем прежде, и известная концепция С.Хантингтона, трактующая современную эпоху как всемирную эпоху “конфликта цивилизации”. В системе факторов, которые, по мнению американского политолога, придают культурно-цивилизационным различиям фундаментальное конфликтогенное значение, убедительно раскрываются механизмы актуализации мировых противоречий как противоречий междивизиационной природы, однако практически не содержится указаний на универсально постигаемый предмет и смысл зарождающихся конфликтов. Если ставкой в мировой борьбе, действительно, является соперничество “из-за влияния в военной и экономической сфере”, “за контроль над международными организациями и третьими странами”³⁹, то не совсем понятно, почему такого рода конфликты не могут разворачиваться, как и прежде, в плоскости взаимоотношений “наций-государств”. Думается, что рамки цивилизаций как раз и являются исторической нишей “нового корпоративизма”, который закономерно рождается вместе с победным шествием универсалистских принципов либеральной демократии, резко обостряющим борьбу за ограниченный пока что ресурс полноценного гражданского и социального бытия.

Отсюда с необходимостью должен следовать вывод об ограниченности и противоречивости либерализации как способа осуществления модернизационных задач. Либерализация нигде и никогда не могла представлять простого, механического распространения принципов гражданской и политической свободы. Такая перспектива, если бы и была возможна, должна была автоматически исчерпаться установлением повсюду некой “средней нормы” либерального прогресса, ибо, как верно и не без иронии замечал К.Н.Леонтьев, “ни новых диких племен, ни старых уснувших культурных миров тогда уже на земле не будет”⁴⁰. В результате, теряющий иерархическую соподчиненность и управляемость мир был бы низведен к чему-то напоминающему гоббсовскую “войну всех против всех”. (Несомненно, либерализм как политическая философия несет в себе это предназначенное к всемирной миссии идеальное гуманистическое начало, но, вероятно, именно поэтому современный мир, сегодня —

как никогда прежде — чувствительный к вопросам правовой и социальной дискриминации, становится одновременно все более многополярным, конкурентным и конфликтным).

В основе же, либерализация во всех своих внешних, культуртрегерских проявлениях являлась и до сих пор является только инструментом преобразования всемирных отношений на основе новых структур социальной иерархии, соответствующих стадии расцвета единого мирового капиталистического хозяйства. Для того, чтобы состояться в качестве эффективного организующего принципа хотя бы в ограниченных национально-страновых или цивилизационных сегментах мирового “центра”, либерализм вынужден противопоставлять себя более отсталой “периферии” геополитически и корпоративно, причем достаточно консервативными — имперскими — средствами. (Консерватизм в данном случае должен пониматься в расширительном смысле — как способ удержания целостного образа национальной политики и интегральных интересов либерального общества как корпорации). Именно так В.В.Розанов в свое время объяснял смысл консервативной “революции”, совершенной в Англии в 70-х гг. XIX в. Б.Дизраэли. Вождь британских тори впервые понял, что “над партиями дня, или даже веков, есть нечто высшее, постоянное — жизнь самой нации”, что “судьба и будущность Англии требуют воссоединение либерализма с консерватизмом, перевоплощение их в новой творческой политике, не разрушающей, а создающей, строящейся, расширяющей пределы”⁴¹. “Расширяя пределы” империи, транслируя внутрисистемные напряжения во внешние иерархические структуры имперского господства, Англия настолько расширила пределы внутренней свободы, что они смогли непротиворечиво вместить в себя и принципы либерального “эгалитаризма”, и неизбежность старых олигархо-аристократических устоев.

Едва ли не большее значение консервативный императив приобретает для модернизирующихся обществ. Для них он становится главной возможностью постоянного культурного сопротивления стихийной периферизации, воспроизводства своей системной целостности и удержания в перспективе своего развития единого проекта преобразований. В этом случае либеральный реформизм лишь сообщает модернизирующемуся обществу определенный набор позитивных идей и примеров, которые однако осмысливаются и усваиваются последним через “фильтры” собственной культуры и — самое глав-

ное — как возможности, выводимые из собственных исторических оснований. С этой точки зрения для перспектив либеральной эволюции модернизирующихся обществ определенные компоненты консервативной политики могут быть гораздо результативнее, чем попытки освоения принципов развитого либерализма в готовом, “снятом” виде. Как справедливо замечает в своей статье Г. Нодия, тот же национализм — например, в посткоммунистических обществах — не только может представлять угрозу для либеральной демократии, но и составляет практически “основной источник надежды для нее”⁴². Можно констатировать, что в модернизирующихся обществах либерализм должен органически вырастать из той же меры национального эгоизма и корпоративизма, какая присуща развитым либеральным сообществам в отстаивании своих жизненных интересов.

Еще более значимо для либеральной перспективы модернизации то обстоятельство, что в модернизирующихся обществах, переживающих опасные разломы внутреннего культурного единства, консерватизм является не столько искусственным, “идейным” торможением прогресса, сколько единственно возможным модусом политики, способом совмещения в действительно необходимом, соразмерном состоянии общества шаге реформ разнородных, разностадиальных, “проживающих” в различных исторических временах элементов общественной структуры. (Нам уже приходилось писать об этом в связи с оценкой политики российского императора Александра III, ошибочно трактуемой как реакционная и антиреформистская⁴³). Й. Шумпетер, анализируя опыт экономической модернизации России начала XX в. и полемизируя с чисто негативными оценками русского самодержавия, подчеркивал: “...За частоколом раскожих штампов совершенно потерялась та простая истина, что эта форма правления не менее точно соответствовала породившей ее социальной структуре, чем парламентская монархия в Англии или демократическая республика в Соединенных Штатах. ... Духу нации противоречил вовсе не царизм, который как раз имел широкую опору среди огромного большинства всех классов, а привнесенный извне радикализм и групповой интерес интеллектуалов”⁴⁴. И 1917 год наглядно показал, что конечные цели общественного проекта, отстаиваемого радикальными либералами, могли быть спасены лишь на путях умеренно консервативной линии политики.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Бердяев Н. Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века//Русская идея. В кругу писателей и мыслителей Русского Зарубежья. – Т. II. – М., 1994. – С. 207, 216.
2. Нольте Х.-Х. Европа в мировом сообществе (до XX в.)//Европейский альманах. История. Традиции. Культура. – М., 1993. – С. 15, 19.
3. Billington J.H. *The Icon and the Axe. An Interpretive History of Russian Culture.* – N. Y., 1970. – P. 382–383.
4. Герасимов И.В. Модернизация России как процесс трансформации ментальности//Русская история: проблемы менталитета. Тезисы докладов научной конференции. Москва, 4–6 октября 1994 г. – М., 1994. – С. 12–13.
5. 50/50: Опыт словаря нового мышления. – М., 1989. – С. 232.
6. Павловский Г. Пределы русской демократии. Стилистические примечания//Век XX и мир. – 1994. – №№ 7–8. – С. 3–4.
7. Бродель Ф. *Время мира. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV–XVIII вв.* – Т. III. – М., 1992. – С. 29.
8. Wallerstein I. *The Modern World System.* – Vol. I. – N.-Y., 1974. – P. 38.
9. Нольте Х.-Х. Указ. соч. – С. 18.
10. Бродель Ф. Указ. соч. – С. 257.
11. Флоря Б.Н. Центральная Европа в Европе средневековья/Неопубликованный доклад, прочитанный на семинаре "Центральная Европа. Специфика исторического и современного политического развития" (Москва, 12–14 апреля 1995 г.).
12. Леонтович В.В. *История либерализма в России. 1762–1914 гг.* – М., 1995. – С. 36.
13. См.: Административные реформы в России XVIII–XIX вв. в сравнительно-исторической перспективе. – М., 1990. – С. 33.
14. См. весьма примечательную с этой точки зрения статью Э.А.Араб-Оглы "Свобода"//Философский энциклопедический словарь. – М., 1983. – С. 595–597.
15. Леонтьев К.Н. *Избранное.* – М., 1993. – С. 148.
16. Там же.
17. Милкоков П.Н. *Воспоминания.* Т. I. – 1859–1917. – М., 1990. – С. 171.
18. Леонтьев К.Н. *Избранные письма 1854–1891 гг.* – СПб., 1993. – С. 336.
19. Розанов В.В. *Собрание сочинений.* Мимолетное. – М., 1994. – С. 258.
20. Леонтьев К.Н. *Избранное.* – С. 155.
21. См.: Дарендорф Р. *От социального государства к цивилизованному сообществу*//Полис. – 1993. – № 5. – С. 31–35.
22. Леонтьев К.Н. *Избранное.* – С. 148.
23. Там же. – С. 147, 149–150, 155.
24. Памяти Константина Николаевича Леонтьева: Литературный сборник. – СПб., 1911. – С. 369.
25. Леонтьев К.Н. *Избранное.* – С. 156.
26. Фихте И.-Г. *Соч. в 2-х.* – Т. II. – Спб., 1993. – С. 525.
27. Нольте Х.-Х. Указ. соч. – С. 23.
28. Фихте И.Г. Указ. соч. – С. 522.

29. История политических и правовых учений. XIX в. – М., 1993. – С. 29.
30. К. Леонтьев, наш современник. – СПб., 1993. – С. 271.
31. Дарендорф Р. Указ. соч. – С. 31.
32. См.: Fukuyama F. The End of History?//The National Interest – 1989. – No. 16, Summer. – P. 3–18.
33. Леонтьев К.Н. Избранное. – С. 153.
34. Там же. – С. 100–101.
35. Кихано А., Валлерстайн И. Роль Американского континента в современной мировой системе, или концепция Америки//Международный журнал социальных наук. – 1993. – № 1. – С. 135.
36. Balibar E. Es gibt keinen Staat in Europe: Racism and politics in Europes today//New Left Review. – 1991. – No. 186. – P. 9, 11–13.
37. Леонтьев К.Н. Избранное. – С. 148.
38. Неклесса А.И. “Третий Рим” или “третий мир”: глобальные сдвиги и национальная стратегия России//Восток. – 1995. – № 1. – С. 15.
39. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций?//Полис. – 1994. – № 1. – С. 37.
40. Леонтьев К.Н. Избранное. – С. 147.
41. Розанов В.В. Указ. соч. – С. 259.
42. Нодия Г. Демократия и национализм//Век XX и мир. – 1994. – №№ 7–8. – С. 103.
43. См.: Зубков К.И. Россия в царствование Александра III: геополитика национальных целей//Россия в царствование императора Александра III. – Екатеринбург. 1995. – С. 27–28.
44. Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия. – М., 1995. – С. 423.